

Литература

1. Кецаль и голубь. - М., 1983
2. Галич М. История доколумбовых цивилизаций. - М., 1990
3. Леон-Портилья М. Философия Нагуа. - М., 1961
4. Трессидер Д. Бабочка / Словарь Символов. - М., 1999
5. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. - М., 2003
6. Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. - М., 1996

Е.А. Четвертных
Научный руководитель:
д. филол. н., профессор
О.В. Зырянов

ЭЛИЗИЙСКИЙ ТЕКСТ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

В греческой мифологии Элизиум (Элизий, Елисейские поля) – это своего рода античный рай, прекрасный сад, где цветы и плодовые деревья вырастают сами, а души умерших ведут беседу на пирах. Это воплощение утраченного людьми золотого века [5:279-280]. К мифу об Элизии обращались античные поэты: Гомер, Пиндар, Вергилий.

В русской поэзии начала XIX в. образ Элизиума функционирует в ценностной орбите жанра дружеского послания (1810-е гг.). М. Н. Виротайнен в своей работе «Две чаши» указывает на то, что в послании часто присутствует мотив пира и смерти на пиру, среди друзей. Поскольку для этого жанра характерна идиллическая картина мира, трагизм смерти и разлуки с друзьями-поэтами снимается в том числе и с помощью мифа о бессмертии. Так, в стихотворении Батюшкова «Элизий» (1810) нет противопоставления земного и загробного бытия, после смерти герой Батюшкова так же продолжает «славить беспечность и любовь», как делал это прежде. Смерть ничего не отнимает у поэта: ни его дар, ни возлюбленную; смерть – это только граница между жизнью и бессмертием. Эта мысль выражена Батюшковым и на формальном уровне – через симметрическую композицию стихотворения: первые шестнадцать строк посвящены земному бытию поэта, а вторые – его новой жизни в Элизии, «где все тает // Чувством неги и любви», где героя и его любимую встречают их двойники – Гораций и Делия. Так загробная жизнь видится Батюшкову как *зеркальное отражение* земной. Но, как отметила Виротайнен, «поэзия – та

единственная субстанция, в которой существует это поэтически предвосхищаемое бессмертие. Поэзия и есть сам Элизий, вечная, негленная жизнь, действительная в меру совершенства стиха, в меру того, как в стихе продолжает жить единожды приданный ему творческий импульс» [7:297].

В Элизии Батюшкова нет Леты, нет забвения как такового. В нем обитают не бестелесные души: бессмертным становится весь человек, духовное и телесное пребывают в нерасторжимом единстве. Иную трактовку элизийского мифа предлагает Жуковский («Элизиум», 1812): он актуализирует его мистериальное содержание, связанное с сюжетом путешествия души в Элизиум. Героиней его стихотворения становится сама Психея, душа, которая, «сбросив пепельный покров» тела, летит на берега Леты, чтобы забыть свою земную жизнь и вспомнить свое происхождение, вернуться к самой себе. Аллегорией спящей, но готовой к пробуждению души у Жуковского является Эндимион, персонаж античной мифологии, добившийся от Зевса вечной юности, бессмертия и вечного сна [5:281]. В стихотворении тесно переплетаются мотивы сна и пробуждения: Элизиум весь погружен в атмосферу сна, покоя и забвения, но именно на этом фоне еще отчетливей звучит финальная строка: «Пробудись, Эндимион!». Вечен не только сон Эндимиона, но и его пробуждение, противоположные состояния человеческой души будто слиты воедино.

В обоих стихотворениях обнаруживается сходное стремление к синтезу противоположного, несомместимого. Для Батюшкова важна была гармония между земной жизнью и элизийским ее продолжением. Для Жуковского свойством «зеркальности» обладают сон и пробуждение, забвение и память. И в том, и в другом стихотворении необходимо отметить гармонизирующую роль образа Элизиума. Именно Элизий становится тем центром, где осуществляется синтез противоположных начал, *поэтическая утопия* Элизиума у обоих поэтов основана на идее возможности такого синтеза. Младшие современники Батюшкова и Жуковского (Пушкин, Боратынский) переосмыслиют идиллическую концепцию бессмертия, предложенную их предшественниками, вводят мотив Элизия в *элегию*.

В пределах этого жанра Элизий связывается с представлением о некоем идеальном (идиллическом) топосе, который в рамках элегии обычно ассоциируется с прекрасным прошлым. Идиллическое входит в структуру элегии, создавая контраст между миновавшим счастьем и безнадежностью настоящего. В элегии Пушкина «Таврида» (1822) таким идиллическим топосом становится Крым. В названии стихотворения содержится отсылка к Батюшкову. «Таврида» Батюшкова (1815), по словам О. А. Проскурина, - это «элегия в форме идиллии»: «от идиллии здесь прекрасный мир античной гармонии; от элегии – квазибиографизм и внутренний трагизм» [14:87]. Таврида у Пушкина становится также локусом антологических

стихотворений. Крым мифологизируется Пушкиным, превращаясь в античную Тавриду. Но идиллический Крым воспринимается в антологических стихотворениях как потерянный рай, время, проведенное в Крыму, видится аналогом золотого века; «все антологические стихотворения были написаны *после* оставления Крыма, по большей части в Кишиневе и в Каменке. Идиллический мир, таким образом, оказывался вместе с тем и миром утраченным, мечтой, грезой, воспоминанием о невозвратном и недостижимом. «Идиллия» вновь подсвечивается «элегией» [Там же]. Сказанное выше вполне применимо и к пушкинской «Тавриде», которая представляет собой отрывки из незаконченной поэмы. Поездка в Крым, которую Пушкин совершил в 1820 г., несмотря на свою краткость, оставила значительный след в жизни поэта: «Образ Крыма вошел в пушкинское представление о счастье» [12:62]. Таврида в контексте стихотворения превращается в вариант земного Элизия, и примечательно, что Пушкин, выбирая между поэтическим Элизием и Тавридой, безусловно отдает предпочтение последней. Для него Элизиум хорош тем, что его можно покинуть ради «берега земного»:

Так, если удалиться можно
Отголь, где вечный свет горит,
Где счастье вечно, непреложно,
Мой дух к Юрзуфу прилетит. [15:1-276]

Элизий Пушкина – это вечность, которая не отменяет временного, мимолетного, земного, это бессмертие не только души, но и всех «минутных жизни впечатлений». Бессмертие противоположно забвению. «Таврида» начинается с размышлений о смерти. В стихотворении возникают два варианта загробного существования: первый связан с представлением о смерти как о полном уничтожении, но не бессмертного духа, а именно памяти о прошлом, земных чувств; второй – с образом Элизия, в котором ничто не забывается.

Таким образом, категория памяти становится основополагающей в стихотворении Пушкина. В структуре элегии через память осуществляется связь между настоящим и невозвратимым прошлым. Память – преодоление времени: «Память потому и элегична, что не спорит, не конфликтует со временем, а возвышается и властвует над ним» [10:187], т. е. отражает присущее жанру элегии стремление к гармоническому примирению противоречий. Если у Батюшкова загробное существование в Элизии видится как зеркальное отражение земной жизни, продолжение жизни за чертой смерти, то у Пушкина Элизий – это *память* о прошлом, бессмертие в воспоминаниях:

Во мне бессмертна память милой,
Что без нее душа моя? [15:1-276]

Важно подчеркнуть, что образ Элизима наполняется новым содержанием именно в элегическом контексте, где он соотносится с темой *утраченного* прошлого. Воспоминание не отменяет потери, не гарантирует возврата к минувшему, потому-то печальна Лета и унылы тени, покидающие Элизий ради «мест, где жизнь была милей».

«Таврида» не была закончена Пушкиным, но он вернулся к этому замыслу уже в Михайловском. В 1825 г. он пишет стихотворение «Люблю ваш сумрак неизвестный...», которое представляет собой переработанный отрывок из «Тавриды» (Пушкин даже датировал эти стихи при публикации 1822 годом). Несмотря на текстуальную близость стихотворения к «Тавриде», его смысл существенно отличается от нее: «в окончательной редакции стихотворение даже состояло почти исключительно из стихов «Тавриды», но изменение их последовательности привело к изменению смысла на противоположный. Если в соответствующем отрывке «Тавриды» поэтическое представление о посещении «земного берега» тенями умерших высказывается с полным доверием: «Зачем не верить вам, поэты?», то в «Люблю ваш сумрак неизвестный...» оно, напротив, подвергается сомнению...» [11:158-159]. К изменению смысла приводит изменение композиции. Голос рассудка, отвергающего «мечты поэзии прелестной», звучит *после* обращения к поэтам, обещавшим человеческой душе элизийской бессмертие. Элизим предстает здесь как порождение фантазии поэтов, как *поэтический миф*.

«Тавриду» и «Люблю ваш сумрак неизвестный...» объединяет не только тема смерти, но и тема любви. Лирического героя страшит более всего утрата памяти о возлюбленной. В «Люблю ваш сумрак неизвестный...» упоминание о любви появляется лишь в последней строчке:

Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я... [15:1-365]

Но именно это позволяет автору выделить мотив любви, подчеркнуть его исключительную важность. Эмоции, выраженные в этом фрагменте, соответствуют тому, что В. Э. Вацуру назвал «психологической ситуацией элегии»: «Душа, захваченная страстью или подавленная страданием, либо вовсе не способна к самовыражению, либо изливает себя в одическом лиризме и в бурной энергии трагического монолога; но когда она выходит из этого состояния, в ней пробуждаются исконно присущие ей

противоположные ощущения, смягчающие и умеряющие страдание. Это и есть «смешанные ощущения»...» [6:17]. Так, у Пушкина в словах: «Тоску любви забуду я...» слышится и *страх*, и *надежда* забыть тоску любви...

В стихотворении Боратынского «Запустение» (1834) наблюдаем тот же параллелизм двух Элизиев, что и в «Тавриде»; «тема уединения, чреватого встречей с родной душой» [1:175] здесь совмещается с элизийским мотивом: такая встреча возможна либо в заглохшем саду (земной Элизий), либо в Элизии небесном с его «несрочной весной». «Запустение», о котором Бродский отзывался как о «лучшем русском стихотворении» [8:229], было написано Боратынским под впечатлением от поездки в Мару, имение отца.

Осенний пейзаж, тлеющая беседка, заглохшие тропинки сада несут на себе печать времени, властного над всем, кроме памяти. Весна, « пленительный май», молодость покинули этот уголок, но он способен пробудить воспоминания. Герой и сам возвращается в усадьбу, где провел детство, другим, изменившимся. Он чувствует власть времени над тем, что ему дорого, но готов принять произошедшие изменения, поскольку запущенный сад, его «заглохший Элизей», еще хранит приметы прошлого:

Что ж? Пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей. [3:265]

С Элизием старый сад сопоставлен потому, что позволил своему прежнему хозяину пережить собственную смерть, оставить после себя след на земле:

Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух... [3:265]

Живые воспоминания о нем обещают герою Боратынского новую встречу со «священной тенью» в ином Элизии, стране, которая не знает тления и «запустения»:

Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев,
Я тень, священную мне, встречу. [3:265]

Так возникает в стихотворении параллелизм двух садов, двух Элизиев. Один из них, земной, возделан руками умершего отца. Этот сад подвержен

разрушительному влиянию времени, и пора весны, расцвета миновала для него. Его осеннее увядание противопоставлено «несрочной весне» второго Элизия, где отменяется бег времени. Уже приходилось отмечать, говоря о пушкинской «Тавриде», что в поэзии 1820-30-ых годов Элизий мог соотноситься с каким-либо реальным местом, памятным для автора. Пушкин при этом отдает предпочтение самой Тавриде, а не мифическому Элизию. Для Боратынского старый сад, постепенно утрачивающий сходство с тем местом, где герой провел детские годы, становится только обещанием подлинного бессмертия, страны, не знающей увядания. Взгляд Пушкина обращен к мгновенному, мимолетному земному бытию, со всей его хрупкостью, недолговечностью. Можно сказать, что Пушкин остановил бы мгновение, как Фауст (см. эпитафию к «Тавриде»: «Возврати мне мою юность», - из того же «Фауста»), а Боратынский отменил бы и само время. Два поэта по-разному понимают антиномию временного и вечного: Пушкин хотел бы, чтобы мгновенное существовало всегда, Боратынский же видит в беге времен своего рода пролог к «несрочной весне».

Тем не менее, между двумя Элизиумами у Боратынского существует тесная связь, второй не уничтожает значимости первого. Связь эта осуществляется опять же через образ «священной тени» отца: эта тень обитает одновременно и в том, и в другом Элизии. Ощущение ее присутствия оживляет затронутый тлением сад. Недолговечность всего земного отчасти преодолевается и на земле.

Таким образом, единство тем и мотивов, которые присутствуют в стихах об Элизии, принадлежащих разным авторам, позволяет рассматривать эти стихотворения в рамках целостного свертхтекста. Н. Е. Меднис дает такое определение этому понятию: «...свертхтекст представляет собой сложную систему интегрированных текстов, имеющих общую внетекстовую ориентацию, образующих незамкнутое единство, отмеченное смысловой и языковой цельностью» [13:21]. Разрозненные тексты объединяются, согласно Меднис, в единый свертхтекст в том случае, когда их связывает прикрепленность к какой-либо общей внетекстовой реалии, становящейся его порождающим фактором. Таким порождающим фактором для элизийского текста является Элизиум. Устойчивый комплекс тем и мотивов, сопровождающих упоминание Элизия в различных произведениях, позволяет говорить о целостном элизийском тексте в русской литературе, который лишь частично подходит под определение топологического свертхтекста, предложенное Меднис. Уникальность его в том, что он включает в себя тексты, объединенные не вокруг какого-либо реального локуса (как, скажем, петербургский текст), а вокруг мифического Элизия, который, несмотря на свою утопичность, способен придать устойчивость данному свертхтексту.

Для элизийского текста характерна, прежде всего, тесная связь с темами смерти и бессмертия (во-первых) и памяти - забвения (во-вторых). Элизий воспринимается либо как идиллический топос, прекрасное место в царстве мертвых, где душа сохраняет все воспоминания о земной жизни (главным образом, у Пушкина), либо как сама память, т. е. интериоризируется, превращаясь из чего-то внешнего по отношению к человеку в присущую человеческой душе способность помнить прошлое (Боратынский и, позднее, Тютчев). И Пушкин, и Боратынский в некоторых стихах соотносят утопический Элизиум с каким-либо реальным местом: Тавридой, заглохшим садом, Италией, даже Россией. Так проявляется параллелизм двух Элизиев: Элизия «земного» и Элизия «небесного». Оба поэта так или иначе ставят проблему временного и вечного в своих стихах об Элизии. Элизий – это такая вечность, которая не поглощает, не подавляет мгновенное, а хранит его в себе, делает мгновенное бессмертным. Это осуществляется через память о прошлом либо благодаря полному стиранию границ между миготом и вечностью, отмене времени как такового.

Лета перестает быть лишь атрибутом Элизия: она начинает противопоставляться ему как забвение – памяти. Однако, сон и забвение не во всех текстах предстают как уничтожение и гибель, они могут приносить мир, покой (вергилиевская традиция), тогда, конечно, противопоставление Леты и Элизия снимается.

Сказанное выше позволяет рассмотреть элизийский текст через систему следующих оппозиций:

смерть - бессмертие
память – забвение
временное – вечное
земное – загробное (или небесное).

Становится очевидной основная функция образа Элизия в стихах, объединенных элизийским текстом, - это *примирение противоречий, но не упразднение их*, это *гармонизация* земного и загробного бытия, открытие существования противоположных начал.

Элизийский текст составляют произведения разных жанров: он зарождается в пределах дружеского послания 1810-х годов. В 1820-х годах мотив Элизия переходит в жанр элегии, играя в ее структуре роль того недоступного идеала, по которому тоскует элегический герой.

Уже в первой трети XIX века в русской поэзии складывается элизийский текст, обладающий устойчивостью и смысловой цельностью. Его дальнейшее развитие осуществляется с «оглядкой» на стихи Пушкина, Боратынского, Тютчева. В XX веке упоминание Элизиума в литературном произведении уже становится отсылкой к поэзии «золотого века» (новый смысл: «золотой век» русской литературы соотносится с Элизием, который в

греческой мифологии был последним «островком» золотого века человеческой истории). Элизийский текст развивается за счет приращения новых смыслов, не утрачивая уже накопленные, и, следовательно, потенциал дальнейшего развития элизийского текста в русской литературе далеко не исчерпан. Миф об Элизии гармоничен, как сама поэзия, и потому востребован в русской поэзии уже двух веков.

Литература

1. Альми И. Л. О поэзии и прозе. - СПб., 2002.
2. Батюшков К. Н. Стихотворения. -. М., 1987.
3. Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. - М., 1951.
4. Бочаров С. Г. О художественных мирах. - М., 1985.
5. Ботвинник М. Н., Коган М. А. Мифологический словарь. - М., 1965.
6. Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». - СПб., 1994.
7. Виролайнен М. Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. - СПб., 2003.
8. Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. - М., 1998.
9. Жуковский В. А. Избранное. - Ростов-на-Дону, 1997.
10. Зырянов О. В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: феноменологический аспект. – Екатеринбург, 2003.
11. Ки бальник С. Смерть у А. С. Пушкина как поэтическая и религиозная тема. // Христианство и русская литература. - СПб., 1994.
12. Лотман Ю. М. Пушкин. - СПб., 2003.
13. Меднис Н. Е. Сверхтексты в русской литературе. – Новосибирск, 2003.
14. Прос курин О. А. Поэзия Пушкина, или подвижный палимпсест. - М., 1999.
15. Пушкин А. С. Соч. в 3т. - М., 1985.